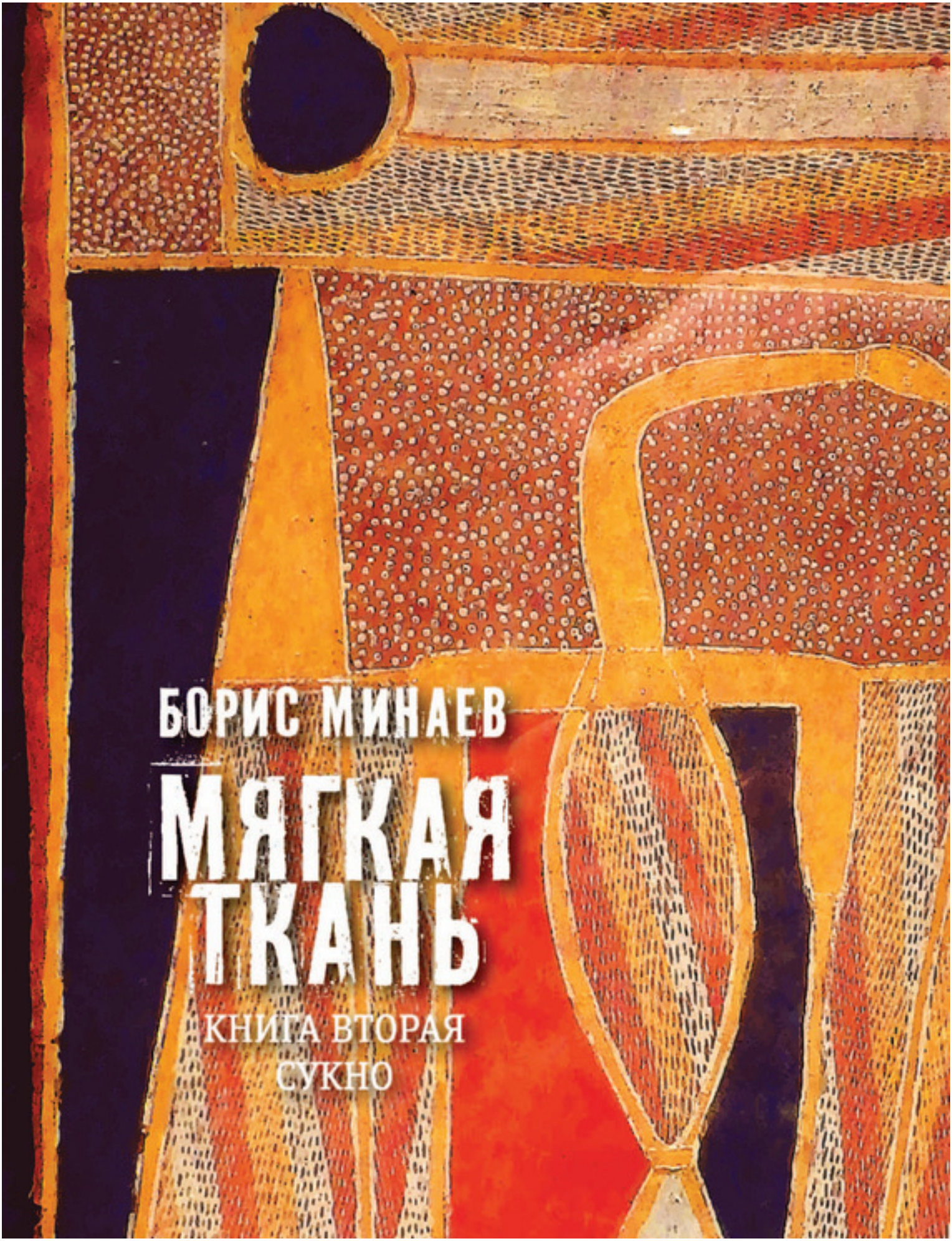

БОРИС МИНАЕВ

МЯГКАЯ ТКАНЬ

КНИГА ВТОРАЯ

СУКНО

Самое время!

Борис Минаев

Мягкая ткань. Книга 2. Сукно

«WebKniga»

2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4

Минаев Б. Д.

Мягкая ткань. Книга 2. Сукно / Б. Д. Минаев — «WebKniga», 2016 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1484-5

Роман известного российского писателя Бориса Минаева – вторая часть дилогии «Мягкая ткань». События столетней давности активно рифмуются автором с проблемами нынешней эпохи, а частная жизнь обычных людей оказывается под прицелом истории. Знакомые нам по роману «Батист» доктор Весленский, братья Каневские и сестры Штейн, революционные солдаты и вожаки крестьянских армий, следователи НКВД и поэты, дантисты и армейские пекари – все они образуют «мягкую ткань» жизни, которую пытаются рвать на части войны и революции. Главным движителем сюжета в романе оказывается, тем не менее, не история, а человеческие связи и личные события: любовь, разлука, желание уберечься от ненависти и жестокости, попытка «залечь на дно жизни».

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-1484-5

© Минаев Б. Д., 2016
© WebKniga, 2016

Содержание

Глава первая. Ратник второго призыва (1915) 6
Глава вторая. Республика Светлое (1919) 23
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Борис Минаев
Мягкая ткань. Книга вторая. Сукно

© Борис Минаев, 2016
© Валерий Калныньш, оформление и макет, 2016
© «Время», 2016

Глава первая. Ратник второго призыва (1915)

Шинельные ткани. Для пошивки шинелей применяются шерстяные ткани повышенного веса (650–800 г 1 кв. метр). К шинельным тканям, помимо хорошего внешнего вида, предъявляются особые требования: эти ткани должны быть плотны, не дряблы, иметь хорошие тепловые свойства, значительную толщину, противостоять смятию и истиранию, защищать от действия ветра, дождя, сохранять хороший внешний вид после намокания. Все шинельные ткани по своей выработке являются суконными. Для суконных тканей применяется пряжа пушистая, вырабатываемая из коротковолокнистой шерсти. В отделке суконные ткани подвергаются сильной увалке, благодаря чему происходит их усадка по длине и особенно по ширине, толщина ткани значительно увеличивается, поверхность ее с лица и изнанки «заваливается», и ткацкий рисунок покрывается слоем прочно свалявшихся волокон. От качества валки суконных тканей в значительной мере зависит добротность их: плотность, ремнистость наощупь, отсутствие рыхлости, дряблости, полнота и ровнота лицевого войлокообразного застила, прочность в носке.

Драп шинельный полугрубый вырабатывается из полугрубой шерсти с примесью искусственной (утильной) шерсти, а в ряде артикулов и хлопка. Переплетение двуличное, при котором один уток выходит преимущественно на лицевую сторону драпа, а второй на изнанку. В зависимости от смески, качества пряжи, плотности нитей и отделки (валки) качество полугрубого драпа может быть различным. Хорошие по выработке полугрубые драпы являются стойкими в носке, практичными тканями, вполне удовлетворительными по внешнему виду, хотя они и не обладают мягкостью мериносового драпа.

Сукно полугрубое темно-серое, шириной 139 см, по своему внешнему виду и свойствам близко стоит к драпу полугрубому, но вырабатывается не двуличным, а полотняным переплетением с значительной увалкой. Назначение его такое же, как и драпа полугрубого.

…Для получения стойкого, добротного материала сукно должно быть плотно выработано, хорошо увалено, тщательно подстрижено с лицевой стороны.

Утром, когда Матвей попросил чаю – оттуда, снизу, – Матрена аккуратно отодвинула половик, открыла подпол за железное кольцо и кинула туда его весь, этот горячий, кипящий чайник. Он страшно закричал, завыл, потому что было больно, а она сказала звонко:

– Матвей! Все идут, и ты иди! – и закрыла крышку обратно, задвинула половик и пошла в огород.

Со второй половины 1915 года Савченков начал скрываться в подполе. Это происходило, как только приближалась к Лазинкам команда, которая состояла из священника, а также полицейского чина и двух унтер-офицеров. Полицейский чин хищно поглядывал вокруг на приближающиеся приземистые дома, а все остальные были как бы погружены в себя и сонно клевали носом. Входила команда рано утром, располагалась на постой в одной и той же избе, и хотя полицейскому чину запрещено было оповещать хозяйку заранее, но он норовил прислать накануне гонца из Спас-Деменска, чтобы протопила баню, приготовила пирогов, да и еще поду-

мала, чем можно скрасить их тяжкое дело, этот судорожный день, и следующий тоже, когда они по деревне собирали ратников второго призыва. Унтерам было все равно, они такого в своей жизни повидали не мало, молодой священник весь преисполнился *служением*, он молился, он шептал про себя особые слова про тех, кого забирали они из родного дома, а вот Афанасию Петровичу, полицейскому чину, было довольно мутно и неприятно, потому что всех этих людей он хорошо знал, некоторых даже с малолетства, и он злился, слушая бабьи вопли и стоны, злился, глядя на слезы здоровых мужиков, отправлявшихся в неизвестность, злился, и даже кричал, и даже иногда бил их, несильно, не крепко, но чтобы прекратили, а потом, в какой-то момент эта боль доставала и его самого до печенок. И потому вечером ему все это было необходимо – банька, самогон, пироги, сало, да порой и вид самой хозяйки доставлял некоторое облегчение, если она вдруг расстегивала кофточку на одну пуговицу и хитро смотрела. В руки, конечно, не давалась, хотя и вдова. Да и потом, конечно, грех, он это понимал хорошо, такое было возможно лишь с самыми непутевыми и изголодавшимися по мужику солдатками, такое могло бы быть, но не здесь, нет, не в этой избе, куда они приходили теперь все чаще и чаще, всегда на рассвете, всегда в угрюмом молчании, всегда под бормотанье священника и мерный лошадиный топот, чтобы забирать новых ратников, поскольку ратников опять не хватало. Ратников не хватало все сильнее и сильнее, из уезда их отправляли в большой город, из большого города грузили в вагоны, в учебную команду, это уже там, возле фронта, возле австрийца… Полицейский чин знал все это с чужих слов, но знал хорошо, поскольку сам просился на фронт, но было велено оставаться тут, «чтобы вместо одного дурака отправить на фронт целую тысячу», как сказала его злая жена. Жена у него была хорошая, но злая, вернее, злым был ее язык, она всегда говорила правду, и в худшие моменты это его раздражало. Все эти поездки с командой были такими мутными и тяжелыми еще и потому, что вокруг него оказывались одни бабы, озверевшие уже настолько, что, подходя к избе, еще ничего не видя, полицейский чин ощущал нечто такое, в животе, что его пугало, некий холод, какой бывает, наверное, при тяжком ранении. Это было какое-то животное чувство опасности, в нем были и страх, и ярость: когда звери готовы на все, ты сам поневоле становишься зверем. Но одна изба влекла его сильнее других, и это была как раз изба Матвея Савченкова по прозвищу Горелый – самого странного и самого высокого деревенского мужика.

Ратников второго призыва забирали по *системе:* вначале по три парня из десяти домов, потом по пять парней из десяти домов, а какие из домов остаются вне призыва, жители решали сами, собираясь на задах, стоя порой на ногах под дождем или мокрым снегом несколько часов, чтобы решить, на какую избу показывать команде.

Отдавали раньше по негласному уговору – сначала младших сыновей, еще не женатых, не оперившихся, не ставших еще мужчинами, бабам их было жальче всего, розовощеких, с пушком на губах, но так было намного *лучше:* взрослые-то сыновья уже вели хозяйство, уже соображали, на них было можно положиться. Если вынуть их из семьи, весь дом рухнет, невестки останутся без присмотра, дети без отца, родители без помощи и утешения. Впрочем, касалось это лишь тех домов, где дети выросли, а были еще и такие, где единственный взрослый мужчина – сам кормилец. Такие дома старались оградить, оставить на потом, на крайний случай, таких мужиков отправляли в Москву, в *отхожий промысел*, пораньше, чем обычно, еще в марте или в апреле, по последнему холоду, на московские мануфактуры, на строительство богатых домов, во всякие артели, лишь бы не *забрили*. Но все это уже не помогало, ибо команда приходила все чаще, чаще, и чаще, и от младших сыновей очередь дошла вначале до средних, а потом и до старших, а потом и до самих мужиков, что было страшнее всего, ибо не по правилам, но пошла мобилизация по году рождения. Столетиями, отдавая свой долг государству, чтобы оставить себе необходимую мужскую силу, чтобы выжить и прокормиться, деревня сама решала, кого послать в армию, под пули, – и вот это *изменение правил* было самым страшным событием, означавшим, что мир рухнул, перевернулся. Поэтому растерянные бабы были

дикими, но страшными и готовыми растерзать или, напротив, залюбить до смерти полицейского чина Афанасия Петровича, когда он заходил в дом.

Совали вкусное, сразу выносили штоф с самогоном, несли иконы в руках и вставали на колени, порой предлагали и девок, молодых дочерей, лишь бы *прошел мимо*, – но как он мог пройти мимо, если на улице ждала подвода со священником и два унтера верхом на тяжелых сытых кобылах?

– Ну что, что ты хочешь от меня? – с мучением, со стоном даже спрашивал он, глядя, как пластается баба на полу, как ползет к ногам.

Это было самое мерзкое, таких он отталкивал сапогом, иногда бил этим сапогом по лицу, когда совсем становилось невмоготу, но это уже потом, ближе к 1916 году, вначале они так себя не вели, нет, не вели, вначале чинно выносили рюмку, огурец, шептали: «Афанасий Петрович, родной», предлагали откупиться: мука, солонина, даже золото иногда – какие-то невесть откуда взявшиеся ложки, портсигары, даже ткань, мягкую ткань предлагали ему тоже. Им казалось, что раз государство отнимает детей не по праву, не по обычаю, сверх положенного, не законно, то и откупиться можно тем же путем, вне закона, вне правил, но он твердо объяснял, он вежливо выпивал свою рюмку, чтоб не обижались, не бранились, ведь выпил – значит, уважил, значит, можно кричать, плакать, но его не трогай, он гость, он все делает правильно, и тогда откуда-то выходили мужики, кланялись, начинали разговор: а что, а куда, а в Австрию, вишь, в Австрию!

В Австрию.

Однажды он видел, в гостях у барина, у чиновника, верней не в гостях, а был по делу, по поводу *поджога у соседей*, жгли теперь, после пятого года, много, часто, в охотку, вошло в привычку, порой горело и само, трудно уже было понять, само или не само, тем более трудно было найти этих поджигателей, но он искал, так было надо, и вот заехал к этому общипанному барину. Бедное поместье, но гордое: большие ворота, деревянные колонны по фасаду, этих не жгли и, наверное, даже не собирались – *взять* было нечего, а может, любили крестьяне эту старуху-хозяйку, колючую, едкую бабу, которая никому не спустит, всегда говорит правду, как и его жена. Все дети разбежались от старухи, в Москву, в Питер, и вот этот один сын, чиновник, приехал, и в доме был праздник, было светло, чисто, прислуга умильно стояла вокруг стола, мужики и бабы, а сын вдруг начал показывать на тарелке, где эта самая Австрия, ловко вылил в белую кашу стакан киселя и размазывал ложкой, наподобие карты: вот мы, вот царство Польское, вот Галиция, вот горы, Карпаты, вот Дунай, клал вишенки, чертил ложечкой, получалось красиво, а вот Вена. Мужики и бабы и мать, старуха-хозяйка, смотрели как завороженные. Полицейскому чину не понравилось: да как же так, это же враг, лютый враг, проклятый немец, садист и насильник, аспид, упырь, про страшные зверства немцев расписывали газеты каждый день, а тут получался вроде не враг, а смешно, не враг, а какая-то каша на киселе, бабы хихикали. Тогда он спросил, а где сейчас наши войска, как далеко мы зашли в Галицию, в Австрию, близко ли уж будет город Краков, который мы вот-вот должны взять, он читал в газете. Общипанный барин подвинул тарелку поближе и посмотрел куда-то внутрь нее, сказал, что не знает, трудно сказать, вот тут идет фронт, и вдруг разрубил ложкой всю кашу, весь кисель, все как-то брызнуло, мать нахмурилась, и полицейский чин пошел прочь, приговаривая про себя – врешь, врешь, общипанный барин, все ты знаешь. И теперь, забирая парней, забирая мужиков в эту самую Австрию воевать, он думал о том, как она все-таки далеко, невероятно далеко, и вместе с тем совсем рядом, поскольку любой мужик из Лазинок может оказаться в ней, буквально любой, она стала близкой, а к пятнадцатому году, к лету, молодых парней в деревне уже совсем не оставалось, и скоро очередь дошла и до Матвея Горелого, но к нему у Афанасия Петровича, полицейского чина, был особый счет, и по-особому он ждал, когда дойдет очередь до этой приземистой ласковой избы…

А в ней, в этой избе, проживала во грехе с Матвеем одна женщина, Савченкова Матрена, и вот она, эта Матрена, тем утром крикнула ему в подпол, туда, в мутную сырую глубину: да сколько ж ты там будешь сидеть, сердце рвать, не могу больше терпеть! И кинула туда в него чайник с кипятком, и Матвей ошпарился, и вышел прочь, и пошел по дороге за телегой, на которой сидели два унтера и священник, а священник отвернулся от него и плюнул, потому что Матвей Горелый жил с Матреной во грехе, поскольку была Матрена вдовой, солдаткой. Мужа ее забрали и убили сразу, в четырнадцатом году, и погиб он, как рассказали ей знающие люди, от газов, выкашлял все нутро, с кровью все вышло у него, и вылезли глаза из орбит и покрылось синюшным слоем лицо. А она ничего, пережила, проплакалась, потому что ребенок у нее был, девочка. И был у нее сосед, Матвей, которого за смуглую кожу и черные волосы звали в деревне Горелым, очень яркий, как с картинки, с ясными зелеными глазами, и тоже вдовец, жена его умерла еще раньше, до четырнадцатого года, от кори, и у него тоже был ребенок, мальчик, и вот однажды он к ней, к этой Матрене, перешел жить, то есть, верней, она к нему, и это было вроде не по закону, так как венчать их не могли, верней могли, но было это трудно, да и венчаться он не хотел, считал, что это смешно – они с Матреной уже старые, хотя было им всего-навсего по двадцать восемь лет.

Но не потому священник тем утром отвернулся от него и плюнул, что они с Матреной не венчаны, а дело в том, что однажды Матрена рассказала Матвею, от чего умер ее первый муж, солдат Иван Савченков в деревне у всех была одна фамилия, и как он умирал, и вот тогда Матвей *испугался*, и испугался так, что задрожал всем телом и бросился прочь из избы, бросив ложку, которой ел кашу с луком, и все остальное – детей, ее (Матрену) и свой собственный дом, и бежал он долго, по темному лесу, пока не рухнул на траву, рыдая, и вернулся только утром, поникший и тихий, и с тех пор рисовалась ему эта картина: как лежит он на поле и умирает от газов, и как вываливаются из глазниц его глазные яблоки, и как выкашливает он легкие вместе со сгустками крови, и как изо рта у него хлещет эта самая кровь, и как лицо его становится синим, синюшным, и как по всей земле тянутся эти ядовитые газы, эти розовые облака, и как все люди дышат ими и не могут надышаться, и это значит, что пришел страшный суд, тот Страшный суд, которого он боялся. Потому что таково было свойство памяти Матвея Горелого – он запоминал все тексты, которые прочитал, он помнил все страницы, которые перелистывал, помнил сам их вид, картинки внизу и вверху, помнил шрифт, как нарисованы обычные буквы и буквицы, и помнил сами слова, они плыли у него перед глазами, хотя был он человек не то чтобы неграмотный, но и не то чтоб сильно ученый, окончил церковно-приходскую школу, но и этого ему хватило. Он помнил очень хорошо про Страшный суд, и когда услышал про газы, он понял, что вот это и есть тот самый суд, над всеми делами человека, а это был самый жуткий библейский рассказ, который он помнил, он был для него страшнее всего на свете, и поэтому, когда Матвей представил себя на этом поле, с выкашлянными легкими, то он взял и побежал в лес, а потом вернулся домой, но уже другой, не такой, как раньше. Вот поэтому священник плюнул в него.

Весной пятнадцатого года (а сошлись они с Матреной зимой, в феврале) Матвей Горелый отправился раньше обычного в отхожий промысел в Москву, наниматься в мануфактуру, в красильный цех, куда он уже уходил перед этим три года. В Москве ему жить нравилось, но нравилось не все, нравились красивые дома, богато одетые и по-городскому сдержанные женщины, но к ним, конечно, он подойти ни разу не решился. Нравились главным образом храмы, он мог целыми днями бродить по городу, заходя в них и внимательно вглядываясь в иконы, изучая свойства, детали каждой церкви, присматриваясь к священникам, к алтарникам и прихожанам, ко всем, кого видел, ибо везде было по-своему, *по-другому, не так*, в каждой церкви была своя манера, свой подход, и в одной дышалось чисто, свободно, а в другой пото-

лок давил, окна казались темными, и лица нерадостными. От чего это зависит, он не понимал и не пытался, значит, так надо, так должно быть устроено, во всем есть этот неведомый ему смысл, бессловесный смысл, который в Москве излучала каждая выбоина, каждый камень на дороге. В этих хождениях по городу он не знал меры, сбивая ноги в кровь, запоминая повороты и вывески, запоминая все эти церкви, сотни, а может и тысячи церквей, которые вместе звонили по вечерам. Такого чуда, конечно, нигде нельзя было представить на земле, и за это чудо он прощал ей все, что не нравилось – постоянное чувство голода, бездомность, презрительные взгляды мужчин, подозрительность городовых, эти чудовищно пахнущие ночлежки, этих страшных пропащих женщин, которые смотрели на него жадно, несмотря на то что денег оплатить их у него отродясь не бывало, этих воров, которые шныряли тут на каждом шагу, эту тяжкую атмосферу гульбы, жестокого пьянства и зверства, которыми были полны буквально все кабаки, все места, где людей кормили и поили. Но все это были в сущности пустяки и мелочи, по сравнению с тем, в какое счастье и волнение погружался вечером город под звон колоколов, и уже входя в него через Дорогомиловскую заставу, в потоке обозов, лошадей, запахов рыбы, навоза, всякой гнили, чеснока и лука, сена и дегтя, он улыбался про себя, потому что знал, что скоро услышит этот необычайный перезвон тысячи московских церквей.

Он не был набожен, хотя и молился. Скорее, все эти книги, которые он прочел, вызывали у него больше вопросов и больше страха, чем блаженства и покоя. Но сами церкви он любил, в них было много человеческого искусства, ума, мастерства, *волнения*, в них было много чего-то такого, что заставляло относиться к людям хорошо.

И в них хотелось стоять подолгу.

Особенно нравилось ему в церкви Живоначальной Троицы в Никитниках, звали ее еще почему-то церковью Грузинской Божьей матери, из-за обретенной в другие века чудотворной иконы, но дело тут было не в иконе, а в росписи, яркой, как ткани, которые делала Даниловская мануфактура, и по всем стенам, и по высокой сфере, и по узким приделам даже, располагалась тут стенная иконопись такой яркости и света, что он зажмуривался, когда сюда входил. Впрочем, войти-то сюда было не всегда просто, кругом громоздились новостройки Боярского двора, купеческие подворья, голубоватые изразцы новых шехтелевских домов. Матвей уже знал, что их так и звали – шехтелевскими, по архитектору, но не мог понять, отчего же он так знаменит; поскольку эти его дома, на взгляд Матвея, были как печи-голландки, как будто он делал печи-голландки вышиной в храмы, и даже выше храмов, вся Москва была в этой невероятной стройке, вся в лесах, в криках рабочих, в потных лошадях, таскавших на себе кирпич и огромные балки, вся она была покрыта, как звучащей пеленой, этим непрерывном стуком топоров, люди вколачивали гвозди в ее новое тело, но не потому что хотели измучить, а чтобы вознести на новую высоту. Москвичи зло щурились, обижались, плевались на эту работу, им новые дома казались наглыми каменными громадинами, чудовищными монстрами, которые заслоняли и убивали старые милые усадьбы, старые церкви, дворики и сады, вообще всю старину, особую память. Особенно свирепствовала графиня Уварова: «Спасите Москву Грибоедова и Толстого», – кричала она на страницах газет и журналов. Хотя кто бы ее стал слушать, особенно теперь, во времена таких невиданных денежных вложений, такого невероятного по масштабам строительства. Эта старомосковская враждебность к новым домам, презрение к ним буквально висели в воздухе, но время было не остановить, и потому на улицах часто возникали различные неудобства, заторы, связанные со строительством, какие-то ямы. Чтобы пройти их, нужно было перепрыгивать по доскам, подбирать юбки, пачкать галоши, проходить по настилу, перебегать по тонкой линии. Это было трудно для всех, особенно для разодетых дам, которые спешили на Пасху в эту старую, прекрасную церковь. И Матвей, понимая это, терпеливо дожидался, когда освободят ему ход, осторожно проникал в эту старую церковь, тем более что стояла она на горке, возле Кремля, рядом с Варваркой, и была, конечно, не простой, по этим высоким ступеням, *царским*, поднимались раньше люди знатные, цари и царицы, да и сейчас

теснилась толпа в праздничные дни – толпа не простая, а изысканная: дамы, мужчины, одетые по-новому, купцы, чиновники – все стремились прикоснуться к этой тайне, к этой старине, невероятной росписи, к куполу, который быстро уносил душу, к резному камню церковных врат, который был еще одним чудом, открывавшимся его любопытному глазу.

Матвей здесь, в этой церкви, становился свободен душой, настолько свободен, что насмешливо отмечал странную деталь московского быта: слепоту горожан, которые не видели своего города так, как он, то есть не видели целиком, для них существовали только отдельные улицы, по которым они ходили, и дома, в которых они существовали, но не был открыт город весь, как он был открыт ему, со своими черными дырами, мутными закоулками, искривляющимися пространствами, со вдруг взбегающими холмами и ниспадающими переулками, полными гама и суеты. Главным в этом странном огромном городе были церкви, но не потому что горожане искренне верили, как раз наоборот, потому что они не верили, потому что не понимали, с чем имеют они дело, и в каком количестве, и как эти церкви стоят, образуя невидимую паутину корней, каменную грибницу, прорастающую из земли, и как они цементируют городскую почву. Горожане не понимали, не видели, и это было важно для города – оставаться невидимым, непойманным, неузнанным, а Матвей видел, потому что он точно измерял глазом глубину нижних уровней, в каждой церкви были захоронения, или тайные лестницы, или просто, подойдя снаружи, легко можно было рассмотреть, как стена врастает в землю, и сколько там аршинов прячется внизу, было неясно. Подвалы, причем глубокие, были и в обычных жилых домах, там держали купцы товары, там порой были огромные склады, там замуровывали богатства, там была жизнь, в церковных же подвалах, которые гораздо глубже, длиннее, не было никакой жизни, там пряталось нечто другое – *время*, и вот город хранил это время там, настаивая на том, что туда нельзя.

Однако зоркому приезжему мужику была не только открыта и понятна эта внутренняя архитектура, она была для него и доступна. Там, где горожанин брезговал спрыгивать в темноту и грязь, Матвей Горелый спрыгивал совершенно спокойно, шел, открывал двери и лазы, блуждал по совершенно пустым коридорам, не боясь заблудиться (чего ему было бояться здесь, в этой праздничной Москве), и шел, шел, шел, пока куда-нибудь не приходил, где уже не было, действительно, совсем ничего…

Катакомбы существовали под каждым московским районом, округом, местом, домом, но особенно – под каждой церковью, где, как понял Матвей, в былые годы по всей видимости не только молились, но и хоронили своих прихожан и святых отцов, но и прятались, скрывались от лютой тогдашней власти. Вот так он прошел своим путем под Соляным двором, который тогда превратили в невероятную стройку, стройку самого большого доходного дома в городе, роскошного жилого квартала. И вот глубокий фундамент открыл такие тайны, о которых и не подозревали благодушные горожане, там можно было не то что прятаться, но и жить годами, разветвленный подземный город прямо указывал на то, что далеко не все москвичи пользовались благорасположением царя Ивана Третьего, и Ивана Четвертого, и всех последующих царей, подземные эти дыры уходили то в одну, то в другую церковь, но говорило это еще и о том, что не все священники поддерживали эту власть. Матвей же просто ночевал в этих подвалах, подкладывая под голову штаны, или рубаху, или зипун, и потому мог прослыть за коренного московского бродягу, каких было полно в этом царстве благочиния, благолепия и московского сладкого патриотизма, хотя никаким бродягой Матвей никогда не был, потому что был он мужиком примерным, послушным, просто очень любил такие скрытные места, где можно было бы ему успокоиться и просто уснуть…

Бесконечные подземные коридоры под Соляным домом, который он строил вместе с другими мужиками на месте бывшего Соляного, а ныне – Шерстяного рынка, они не только образовывали кольцо, паутину старых лазов и укромных пещер, но и выходили на большую подземную дорогу – в Кремль, это Матвей понял сразу, как только увидел вдруг расширившуюся

подземную улицу, которая освещалась странным подземным светом – как будто стены ее слегка отсвечивали и плавились.

Идти туда, в Кремль, Матвей испугался. Никого не было тут, вокруг было пусто, тихо, но тревожно, как будто злые чьи-то глаза прятались по бокам, в самодельных лазах и пещерах, как будто кто-то властно, хотя и бесшумно, говорил ему, шептал, внушал – не ходи, нельзя, убьют.

Но неизвестность влекла его всегда. Увидев новую тропинку в лесу, он обязательно по ней шел. Так же было и сейчас: против своей воли Матвей ступил на эту подземную улицу и прошел по ней буквально сто шагов, шаги его становились все медленнее и неувереннее, улица – все холоднее, он представил себе глубокую, гулкую толщу воды над головой, туннель явно шел вниз, под руслом реки, и он не решился спускаться, а шагнул в боковой проход, который оказался неожиданно теплым и узким. Дальше он свернул налево, тут стало еще темнее, он зажег свечу, потом проход раздвоился – и внезапно Матвей понял, что хочет тут остаться, не выходить обратно.

Решение было мудрым, поскольку там, в большом туннеле, послышались голоса, что за люди, он не знал, и потому решил переждать, заснул, а когда проснулся, вдруг понял, что может заплутать.

Нужно было ждать следующих голосов, чтобы идти на звук, и Матвей принялся вспоминать книгу, которую тогда еще только начал учить, и, закрыв глаза, представлять ее, страница за страницей. Занятие его увлекло. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывай лица Твоего от меня, шептал Матвей, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым, дни мои и кости мои обожжены, как головня, сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой, я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах. Матвей оглянулся. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веков…

Матвей вдруг подумал, лежа в узком коридоре под будущим Соляным домом, в районе Китайгородской стены, что вот и он добрался до этих основ, а сам город, огромный город, стоял на них, жил на них, опирался на них, но насколько тверды они, было ему непонятно. Глаза привыкли, в одной из ниш, которыми были полны эти стены, увидел он человеческие кости, – возможно, это были монахи прежних веков, принявшие именно здесь свою долю и совершившие именно здесь божеский подвиг, а возможно, это были следы старого преступления, люди, исчезавшие навсегда в районе старой Хитровской площади, о которых в Москве много и часто говорили, наверняка многие из них нашли свой приют здесь. Но Матвею было отчего-то все равно, кто именно покоился тут и пугал его своими старыми костями, ему было уютно и спокойно, именно тогда он впервые подумал об этом, именно тогда, спокойствие было так велико, так полно, что он снова заснул, а проснулся утром, бодрый, голодный и сильный, и безо всяких голосов вышел обратно на земную поверхность…

Как ни странно, прокормиться и прожить в Москве до открытия мануфактуры[1] (а в том, пятнадцатом году он пришел наниматься аж на месяц раньше срока) – не было для него неразрешимой задачей: он даже не думал об этом, разной мелкой работы здесь было столько, что она легко находила его, хозяйки брали за рукав буквально на улице. Он шел на Сенную площадь или на другой базар, и там уже, приглядываясь к нему, к его аккуратной одежде, к высокому росту и длинным рукам, его находили хозяева. Но он тоже соглашался не сразу, чтобы не попасть на какого субчика или мерзавца, но, правда, такого с ним никогда не случалось. И вот он жил, то плотничая, то просто присматривая за двором, где обитала одинокая вдова либо одинокие старики и где требовались разные разности: порубить дрова, принести мешок угля,

[1] Как правило, московские мануфактуры работали в весенне-осенний сезон, поскольку электрический свет и зимнее тепло обходились хозяевам слишком дорого.

подмести, починить ворота или ставни. Или работал на стройке, и если не давали денег, то жил прямо тут, в этих дворах, в пристройках, хибарах, сараях, а если давали – то шел в ночлежку, нигде ему не было страшно или грустно, везде была своя жизнь, и если его обворовывали вдруг, то стоял на коленях и молился, а если давали щедрую, непомерную плату – опять-таки шел в церковь и немного жертвовал, чтобы выразить благодарность. Эта жизнь была ему не в тягость, ибо день становился все длиннее, солнце все ярче, и в проливной дождь, и под неожиданным весенним снегом, все равно в Москве было ему весело и славно, и главное, что вокруг были эти колокольни, купола, пузатые приделы, и врата, и стены. Он обходил их, как свои кусты, как какие-нибудь лесные поляны на родине, он любовался на них и тихонько пел, крестясь на закате, ибо не был набожным, но был *тихим*.

Случалось, конечно, что московские вдовы предлагали ему остаться, приносили ношеную, но совсем еще хорошую одежду (даже мундиры бывших мужей), усиленно кормили, водили в баню, ночевать приглашали в различные светелки или чистые комнаты, намекали, смотрели, приносили все, что он хочет, – пряники, книги, картины, лишь бы ему было интересно и весело, – но из таких домов Матвей убегал, в них ему было душно, в отличие от московских подземных страшных обиталищ. В таких домах ему становилось тесно и противно. Однажды очень холодной весенней ночью он перепрыгнул через забор в отдаленном ремесленном районе Пресни, кругом были глухие темные строения, непроходимые сады, неласковые фабричные казармы, он долго бродил по переулкам, не понимая, куда податься, а потом спустился к реке и чуть не замерз, дожидаясь утра.

Однако такая беспорядочная, хотя и интересная московская жизнь продолжалась недолго, и терпел он ее неудобства только потому, что знал – скоро откроется мануфактура.

Мануфактур в Москве было много, под полсотни, считая небольшие. Все краснокирпичные, слегка подкопченые, стояли на берегах реки, шумели и дымили весело, выделывая свои ткани разного вида и фасона, под владением то иностранцев, то своих купцов, а то и вовсе неизвестно кого, каких-нибудь там губернаторских или судейских детей, которые на фабрику не любили показываться, а лишь давали и забирали деньги…

В основе же каждой московской мануфактуры стоял немец (управляющий либо главный инженер), потому везде тут были порядок, чистота, за станками следили люто, двор подметали, полы мыли, помещения проветривали, обедом и ужином кормили, чай давали, не терпели рваных, лохматых, разутых, голодных, таких гнали взашей, как только видели непорядок и неисправность не только в машине, но и в человеке, – это было такое новое чувство, к которому он никак не мог привыкнуть. Работал Матвей Горелый в красильном цехе, работа была тяжелая, но точная, мрачная, свирепая, не терпевшая ошибок и страху – она требовала необычайной физической силы и смелости, потому что покачнувшееся ведро, с кипящей краской или кислотой могло пролиться, к пролитому на пол пятну, страшно ругаясь, бежал мастер, готовый прибить, выливать ведро нужно было в кипящую и полную пара жгутовую барку, за искалеченных фабрика платила огромные деньги, приезжали надменные адвокаты, едкие доктора, и терпеть такую неприятность немец, конечно же, никогда не мог. Поэтому новых людей нанимать в красильный цех не хотели, Матвея уже на второй сезон ждали, сулили ему прибавку, сулили хорошую, теплую койку в казарме, даже с бельем, обещали дать рекомендацию, если захочет учиться, освободить от всяких штрафов, платить девять с полтиной рублей в месяц, рабочий день не более десяти часов. Все это ему нравилось, как нравится любому человеку это чувство, что без него не могут тут обойтись, чувство своей необходимости чему-то или кому-то – жене, фабрике, маршевой роте, лихой банде или всему государству сразу.

Но, наверное, главное, что ему нравилось, это все-таки сами ткани.

Ткани тут, на Даниловской мануфактуре, делали самые разные, под заказ, основным заказчиком выступало военное, конечно, ведомство: гнали и суровую ткань на портянки, и тонкую на бинты, и плотную фланель, и сукно под гимнастерки, палатки, фуражки, это же все из чего-то надо было шить, но русско-японской войны Матвей тут не застал. Все военные подрядчики тогда сорвали необыкновенные барыши, в том числе и мануфактурщики со своими тканями, поэтому трудились порой в две смены, в три, засыпали на рабочем месте, предусмотрительные просили сменить срочно, непредусмотрительные засыпали прямо за работой, с риском для жизни. Но особенно страшно было, конечно, в красильном цеху, где дымящиеся ведра, где ядовитые смеси, где пары, где красители, прожигающие и руку, и свинец, где только успевай поворачиваться, эй, Горелый! – а что Горелый, с мокрой тряпкой, подвязанной к носу, с крупными каплями пота, сползающими на глаза, а вытереть невозможно, вот пытка, в резиновых сапогах, и главное, самое главное, это ступить куда надо, иначе рука поедет, и вместо жгутовой барки, куда сливаются разные составы, и все кипит, все дымится, как в аду, адская эта жидкость попадет на пол, прожжет сапог или, не дай бог, попадет на руку, и тогда руке конец, а ведь ведра таскаешь не рукой, а на деревянном багре, и это еще более страшно, опасно, как в цирке, куда Матвей за московскую свою бытность зашел всего пару раз, посмеялся и поужасался от души, но больше не захотелось. В другие места тянуло – в картинные галереи, в Румянцевскую библиотеку. Говорили, там старинные книги, старинные картины с библейскими сюжетами, но его туда не пускали – из-за одежды, специфического деревенского духа, и потому он обходил все новые и новые церкви. Здесь было все: и книги, и картины. Мысли путались, пары отдавали в мозг, сюда, в красильный цех, выбирали мужиков помоложе, посильнее и повыше, важна была масса тела, перед набором давали понюхать всякое – нашатырь, какую-то химию, следили за лицом: поморщится или нет, – его об этом предупредили, он не поморщился, но и не хотелось, все запахи он переносил легко, таково было устройство носа, благодаря искривленной перегородке запахи проходили в него все-таки с трудом, и мозги оставались целы.

В красильном цеху ему было уютно. Здесь было жарко, было влажно, было опасно, но именно поэтому он чувствовал себя легко и свободно – сюда не могли зайти *другие люди*, а именно они всегда представляли для него первейшую, важнейшую опасность, порой даже муку.

Мука была в том, что с раннего детства он не знал, как надо себя вести, как с ними обращаться. Люди (особенно дети), как звери, чувствовали этот его изъян и норовили воспользоваться – хотя бы по мелочи: что-то выпросить, в чем-то обмануть, поставить в неловкое или унизительное положение, посмеяться, нагадить или, с течением времени, когда он стал высоким красивым парнем, войти в доверие, выцыганить часть его души или имущества. Хотя, впрочем, он сам был для них *цыганом*: необыкновенно смуглый, с черными волосами, отливающими аж в синеву, с зеленовато-карими прозрачными глазами, он был совсем на них непохож, ни на кого не похож, оттого с раннего возраста начали у него происходить различные приключения с бабами, с девками, которые, несмотря на строгое домашнее и церковное воспитание, умоляли его ну хотя бы посидеть, побыть, во время сенокоса полежать рядом. «Ну отдохни», – слышал он миллион раз, и каждый раз краснел, потому что понимал, что это они говорят неспроста, и что делать в ответ на их умоляющий взор, тоже не знал, и что за ним стоит, за этим взором, чистое или нечистое, тоже не знал, а только чувство вины его все больше усиливалось и укреплялось. Бывали и драки по ревности, бывали и лютые насмешки над ним, но главное, он надеялся когда-нибудь, став окончательно взрослым, избавиться от этой дистанции, от этого чувства вечной неловкости и вины. А вина становилась все больше, дистанция увеличивалась, одиночество укреплялось, и это было тяжело. Нигде он не был своим, ни на празднике, ни в церкви (свою, деревенскую церковь он, признаться, не очень любил, вся она была

переполнена суетой, чванством, сплетнями, разговорами пустыми), ему всюду были тяжелы эти взгляды, ищущие, молящие, враждебные, искоса, с вызовом, с вопросом, он никогда не мог понять, чего они все от него хотят. И вот только тут, в Москве, вдалеке от дома, в красильном цехе, он закрывал за собой дверь, надевал мокрую маску, брал в руки багор с крючком, чтобы носить ядовитые ведра, и ему становилось легко.

– В кого ж ты такой уродился? – спрашивала его порой Матрена, ночью, если не спалось ей от любви и от ласки.

Он молчал.

Вообще на юге Смоленской губернии, и вокруг Калуги в особенности, в Жиздрицах или Медыни, Рославле или Полотняном заводе, да в Угодском заводе тоже, попадались, конечно, такие вот мужики – смоляные, смуглые, похожие на цыган. Их и звали обычно так – *Цыган*, подразумевая вовсе не то, что русскому человеку зазорно иметь такую внешность, а то, что две эти нации не могут не перемешаться, если живут столько лет рядом, табор нет-нет да и проходил мимо их села тоже, а то и останавливался на целое лето, на осень, чтобы двинуть потом в большие города, в Калугу, в Москву, но Матвей знал, из книг, что дело тут вовсе не в цыганах. Совсем по историческим меркам недавно, лет триста назад с небольшим, проходила здесь государственная граница, дальше дороги вели в степи, к крымчакам, и скорее уж от них все эти приметы на его лице – и дед его был таким, и, наверное, прадед тоже, а *у простых людей нет родословной*, это он знал с детства, и вопрос казался ему глуповатым, впрочем, и простительным тоже, все бабы его об этом спрашивали всегда и везде, во всяких случаях и положениях.

– В кого же ты? – смеялась она шепотом, уже не надеясь на ответ.

Имела в виду Матрена, конечно, совсем не цвет кожи или волос, да мало ли какое бывает у людей лицо или уж тем более волосы, один бог знает, зачем появляются на свет, господи прости, вот эти рыжие бабы, вечно или злющие, или безудержно веселые, или гулящие, зачем богу эти сморчки вместо мужиков, какими были полны их лесные деревни, все похожие на леших или на каких-то водяных, таинственные и смутные на лицо, как болотная вода, но внешность была обманчива, и богатыри оказывались сморчками, и сморчки – богатырями, и жизнь вскоре научила ее смотреть острее, поэтому имела она в виду не только Матвееву повадку, масть или стать, а что-то другое – ведь она догадывалась, что он не такой, как все…

Догадывалась еще тогда, когда в первый военный год переходила к нему в избу, будучи свежей вдовой, несмотря на осуждение и даже злобу деревенских, причем переходила-то *по разговору*, ничего между ними еще не было, переходила, в общем-то, из-за самой избы – дом у Матвея был правда очень хороший, с высокими воротами, большой подклетью, глубоким погребом во дворе, поискать таких домов, тут все было годное и все стояло на местах, хотя мужик был вдовый и мог хозяйство запустить, но не запустил, это первое, что бросилось ей в глаза. Жить одна она совсем не могла, лучше тогда совсем удавиться, но ей было жалко годовалую дочь, девочка смотрела на нее с такой надеждой. И уже тогда она поняла, что выбранный ею сожитель не такой, как все, и не потому что *цыган*, и не потому что молчун, и не потому что читал, мог читать весь вечер напролет, не дотронувшись до нее, что поначалу сильно ее обижало, а потому что смотрел он не так, не было во взгляде жадности, или насмешки, или мужского обычного интереса, а скорее испуг и какая-то тронувшая ее робость. Это было настолько тревожно, что она молилась, поначалу сильно молилась, и хотела сходить на исповедь в другую, дальнюю церковь, но передумала – а что делать, обратно же в свою избу уже не перейдешь, бабы засмеют, нужно жить с новым человеком как-то по-новому. Жаловаться ей грех, руки у Горелого были ловкие, и сначала она радовалась, следя за этими руками, когда он рубил, пилил, строгал, копал и все прочее, а потом вдруг она поняла, что этими же руками он и с ней как-то уж очень ловко управляется, ну и не только руками, конечно, высокие мужики – они в этом смысле, конечно, пригодные, но не с каждым сладится. А с ним сладилось, но когда он

ушел в Москву на фабрику, она вдруг так страшно затосковала, что начала *ждать*, и ожидание это было невероятно длинным, и горьким, и ревнивым, и сладким, и она проваливалась в страх, в холод, а потом снова сладко ждала, а когда он пришел, вдруг стало совсем ясно, что у нее *любовь*, это было стыдно, даже нехорошо, потому что она впервые в жизни не думала о делах, о бесконечных этих бабьих делах, ради которых вроде все и появляются на свет, чтобы всех кормить, всех рожать, за всех все делать. И когда у нее эти мысли впервые исчезли, она так изумилась, что стало ей второй раз страшно: за кого ж она вышла замуж, за какого беса, что даже не может вспомнить, сколько у нее осталось муки, накрыта ли в подполе картошка и как зовут трехмесячного теленка.

Незаконные, нерегистрированные, невенчанные эти браки стали тогда в России целым явлением, и власти не совсем четко понимали, как к ним относиться. Писали записки на высочайшее имя, подавали и в Государственную Думу, но, конечно, верховным властям было не до таких глупостей. Осмелели бабы, распустились мужики, а что было делать – во-первых, война. Во-вторых, не все возвращались из отхожего промысла, как Матвей Савченков, многие оставались либо же совсем пропадали в больших городах, причем оставались во все возрастающих количествах (на фабриках, заводах, мануфактурах, в кабаках и богатых домах в слугах), и, конечно, далеко не все жаждали потом перевезти свои семьи туда, в большой город, это было и дорого, и страшно хлопотно, и бабы оставались одни с кучей детей и, разумеется, сами себя спасали, выходя то за вдовцов, то за одиноких, то за приезжих.

Стремились и сами мужики жениться на солдатках, на вдовах, то по любви, то после жениной смерти в результате неудачных родов или страшных болезней, типа кори и оспы, которая косила несчастных женщин чудовищно, как будто бы в наказание за японскую войну, за революцию, за погромы и пожары, за новую Отечественную с немцами, которая не замедлила себя ждать, вот за все за это, неожиданное, свалившееся как гром среди ясного неба на тихую, спокойную, сонную страну – бог послал новые испытания в виде эпидемий, и бабы умирали, и нужно было собирать семьи вновь, из того материала, который имелся. Но что с этим делать, ни священники, ни полицейские чины просто не знали, не было никаких указаний свыше, а регистрировать было нужно – и для статистики, поскольку новое начальство очень увлеклось статистикой, и для разных податей, налогов и сборов, ну и просто, чтоб знать. А как не знать! Ну как не знать, кто у тебя с кем живет и от кого рожает!

А бабы перед войной и во время ее рожали бурно, даже как-то чересчур, и вот чуть ли не пятая часть, не четверть всех *новых* детей стала рождаться в этих невенчанных семьях, и тогда обуяла начальство тревога.

Полицмейстеры стали записывать в церковно-приходские книги эти новые семьи сами, чему священники, конечно, воспротивились, и началось форменное безобразие.

И еще раз Матрена Савченкова испугалась, когда пришел к ней в дом отец Александр. Пришел суровый, и не кивнул, и не сел, а стоял укоризненно в сенях и громко разговаривал.

Тем более что причин такого внимания именно к ней понять было нельзя. Невенчанных в деревне было не так уж мало, семей, наверное, пять или шесть, да и далеко не все с детьми, а у нее вместе с Матвеем было ведь сразу двое, причина, по ее мнению, уважительная, но отец Александр сразу взял обвинительный тон, что, мол, живешь, раба божья, во грехе, и грех ужасный, смертный, а делаешь вид, что все вроде как по закону, вводишь во искушение молодых баб, развращаешь население, в другие времена тебя бы камнями забили, а тут смотри-ка, живет, горя не знает, ходит с гордо поднятой головой…

Вот тут Матрена Савченкова впервые покраснела, потому что священник сказал чистую правду: с тех пор, как Матвей впервые с ней переспал (не с той поры, как она к нему переехала,

а именно вот с этого момента) она стала ходить по деревне гордо, с высоко поднятой головой, чего раньше никогда не было, а бабы смотрели на нее со злостью и недоумением.

– Ну а что ж я могу, батюшка, отец родной? – жалобно заныла она. – Мужа-то убили, вы ж знаете. Куда мне одной? Да и он не против…

– Господи, что ж мне с вами делать? – заорал батюшка. – Ну что? Ну откуда вы взялись на мою голову?

Дальше разговор пошел совсем непонятный, про заповеди, про безбожие и родителей, которые в гробу должны перевернуться, – всего этого Матрена не понимала, но чувствовала, что здесь что-то не так, и наконец священник потребовал с нее пять рублей за *прошение*, чтобы взять у вышестоящих властей формальную возможность поженить их чин по чину…

Говорил, что дело это долгое, хлопотное, само по себе стоит денег, а тут еще письма, почтовые сборы, поездки, ну и так далее.

Разумеется, пять рублей давно уже не были такими деньгами, на которые можно прожить хоть целый год, как во времена Пушкина, например, сам отец Александр довольно часто держал в руках то десяточку, то четвертной, но все-таки для простого человека это были очень большие, просто огромные деньги, и отдавать их за просто так Матрена, уж конечно, не собиралась.

– Да откуда ж мы их возьмем? – растерянно и просто спросила она.

– Продайте что-нибудь, – так же просто ответил священник.

Но ни продавать, ни копить, ни отдавать за это Матрена ничего не хотела, и вот сейчас это стало понятно, причем самым унизительным для отца Александра образом – она стояла и молча усмехалась, уперев руки в боки, в длинной юбке, обхватывавшей крутые бедра, и кусала край платка, в страшном смущении и одновременно в страшном негодовании на эту поповскую хитрость.

– Анафеме предам, из церкви выгоню, при всех, – сощурившись, зло прошептал он.

– Выгоняй, – сказала Матрена. – Сама молиться буду. Да и врешь ты, никуда ты меня не выгонишь.

Он вышел прочь, хлопнув дверью.

И еще раз Матрена сильно испугалась, когда полицейский чин Афанасий Петрович, что собирал на войну ратников второго призыва, впервые пришел в Матвееву избу.

Испугалась она, во-первых, того, что опять останется одна. Матвей казался ей в этом смысле вполне подходящим мужем, то есть непризывным – он был вдовец, с ребенком, он не подходил ни под какую категорию ратников, да и кроме того, ей искренне казалось, что раз она солдатка и однажды *уже* пережила смерть мужа, то вторично такого с ней просто не может быть, по всем законам. Но в том-то и дело, что она ошибалась, и теперь только это поняла, верней, ей это доходчиво объяснил полицейский чин Афанасий Петрович – что ребенка Матвею Савченкову есть теперь кому оставить, а вместе с тем никаким мужем он ей не является и прав не имеет, а что до ее вторичной беды, что, мол, одного уже похоронила, так на то была ее добрая воля, никто ее не неволил и в дом к Матвею не гнал…

Она увидела его хищный взгляд и все поняла.

– Так где Матвей-то? – спокойно и как-то лениво спросил он.

– В городе.

– В городе? – удивился он. – Ух ты, какой быстрый… Ну ладно, я тогда еще зайду. Передай.

Но больше всего она испугалась не священника, не полицейского, а самого Матвея – когда он, впервые увидев *команду*, не стал ничего ждать, никого спрашивать, накинул верхнюю одежду и задами ушел. Исчез в лес. Такого она, конечно, не ожидала. Он ничего не сказал,

ни о чем не предупредил. Его не было до темноты. Она сидела в горнице, чистила картошку и не знала, что делать.

Может быть, он совсем ушел в город, навсегда?

Или что-то с ним случилось?

Возможно, подумала она, это от неожиданности.

Но история повторялась. Команда приходила теперь часто, забирали одного-двух, большую толпу людей гнать в солдаты как-то они боялись, особенно поначалу, старались притвориться, что все как обычно, все как всегда, но ратников не хватало, ратников требовали все больше, поэтому дело дошло до вдовцов с детьми, то есть до Матвея Горелого.

Осенью (это был ноябрь) Матвей надолго убежал в лес.

Афанасий Петрович знал, что он где-то здесь. Что это его дезертирство когда-нибудь кончится. Но ему не хотелось хватать Матвея. Тащить его на веревке. Заковывать в кандалы или что-то такое вот, ужасное. Ему хотелось, чтобы Матрена сама поняла, что муж он негодный, что трусит подло, что вместо него гонят на смерть других мужиков, чтобы поняла – и выгнала, и осталась одна, и тогда он уже за ней присмотрит.

Поэтому он приходил, садился и долго смотрел по сторонам. Или ей в глаза.

Эти минуты для Матрены были особенно мучительны. Один сидел в подполе, другой вот тут, в *зале*, сидел и не уходил, со своими сапогами и револьвером.

– Может, чаю выпьете, Афанасий Петрович? – спрашивала она.

Он отказывался. Смотрел. Рассматривал. Ухмылялся нагло.

– Ну нет его… – говорила Матрена, стыдливо потупившись. – Ну что я могу?

– Куда ж ты его дела, а? – хохотал полицейский чин. – Может, под юбку? Можно посмотреть?

Когда команда уходила, Матвей снова возвращался в дом.

Что делать со всем этим, Матрена не знала. Уговаривать его уйти на войну она не могла. Сами слова застревали у нее на губах. Пусть так, пусть так, шептала она ночью, плача.

В самый первый раз, когда он надолго ушел в лес, Матвей вдруг как-то сразу понял, что хотел бы здесь жить всегда. Тут было холодно, пусто, горько, ранней весной ни листочка, ни ручья, только снег, только грязь, но совсем не было людей, полное одиночество, и постепенно он понимал, что ради этого одиночества он готов тут обживаться заново, как зверь. Быстро выкопал ножом и топором землянку, обшил и укрепил внутри бревнами, сделал очаг, принес из дома сухие щепки для лучины, свечи, одеяло. Постепенно сухих дров становилось все больше, можно было согреться, для охоты и собирательства еще был не сезон, на ночь он возвращался в свою избу, забирался в подпол и сидел там, читая Библию. Команда приходила в деревню на один-два дня, но постепенно его отлучки становились все длиннее, даже находясь в избе или делая работу, он шептал про себя библейские тексты, выучивая их наизусть, чтобы не сойти с ума. Матрена не могла понять, как человек может выучить такие длинные периоды, такие сложные слова, она пугалась, она смотрела порой, как он перевертывает страницы, со смешанным чувством жалости, восхищения и, конечно, страха. Что ж ты делаешь в лесу, спросила она однажды, он сказал, что делает кормушки, в карманах зипуна он уносил из дома драгоценное зерно, это было еще более странно, но она ни слова ему не сказала, он был *муж*, пусть невенчанный, но муж, это она понимала хорошо. Но дело было в том, что этот лес, эти его отлучки, эти ночи в подполе с книгой в руках – они были не только разорительны, как она считала, потому что масло в лампе было дорогим (он даже старую керосиновую лампу туда унес, чтобы читать), но главное, все его существо менялось, постепенно, медленно, но неотвратимо, он уже смотрел не на нее, а сквозь нее, переставал замечать детей, время суток, праздники и будни, он постоянно *думал*, и это его думание она ощущала, как большую тяжелую физическую работу,

которая забирала его всего. Постепенно ей стало обидно, что он с ней не спит, а верней, не ласкает ее тело, и как будто думает о другой женщине, – может быть, дело было в этом?

Она высказала такое предположение, но он ничего не ответил, даже не заметил ее слов. Матвей в этот момент думал о пауке, паук приходил к нему в подпол часто и висел напротив его лица, словно разглядывая. Темный плотный воздух, разогретый лампадой, шевелился вокруг паутины. Матвей завороженно смотрел, как паук крутится вокруг своей оси, словно делая знаки или пытаясь что-то сообщить. Захотелось его убить, растоптать, и вдруг он понял, что не может, что руки не слушаются, потому что паук имеет какую-то власть, я же тварь божья, говорил ему паук, а ты ногами хочешь, нет, не хочу, отвечал Матвей. Еще в подполе, конечно же, были мыши, но с ними было как-то совсем просто, это была голодная, веселая добродушная стая, которая набегала на кусок хлеба или отбегала от громких звуков, крутя хвостами. Наблюдать за ними было ему неинтересно, хотя двигались они по какой-то невероятно сложной линии, все вместе, чертя замысловатые фигуры, – одни вперед, другие вбок, третьи наискосок, меняясь местами и перехватывая друг у друга инициативу; но так делали все известные ему живые существа – люди, жуки, коровы, – все создавали хаос, неизвестность, стройную и загадочную, и только паук был не такой; он висел перед ним, пытаясь его понять, что-то разгадать или что-то сказать, и Матвею было с ним интересно.

Книга стояла у него в голове непрерывно, отдельные слова от частого повторения теряли свой первоначальный смысл. Превозносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно, – это были просто слова, и в темноте, подкручивая лампу, он вглядывался теперь в их написание, просто в сами линии, как будто в чертежи. Эти чертежи он иногда видел на стройке, на строительстве больших домов в Москве, когда нанимался в артель, они приводили его в восхищение, огромные раскручивающиеся листы, цифры, буквы, из них вырастал дом, они, как в зародыше, содержали в себе кирпич, краску, деревянные перекрытия, ступени, карнизы, этажи, чердак и подвал, они были знаками божьей воли, Матвей знал, что и богу угодны эти дома, зачем-то, хотя они были действительно непропорционально огромны, выше церквей, что вроде бы нехорошо, но Матвей знал, что и это тоже для чего-то нужно, и работал истово, хотя работа для него там была дурная, глупая, не такая, как в красильном цехе. Эти библейские тексты, его слова, его буквы он тоже стал воспринимать как эти чертежи, ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня, буквы прорастали у него в мозгу, огромные и пустые, уже без конкретных значений. Также он мог в лесу долго стоять возле дерева, обнимая его, или сидеть над пустой норой, все стало другим, время и воздух, все изменилось, и вдруг он начал понимать, что в этих отлучках из дома есть что-то важное, он перешел границу жизни, все отступило, все прервалось, можно было дальше жить, а можно и не жить, все и так *стало ясно*, эта граница между жизнью и не-жизнью была заманчивой, каждый раз ему остро хотелось ее переступить, но лишь одно отравляло это сладкое чувство: было жалко Матрену, не детей, а именно Матрену. Он пытался понять, чем же она отличается от его прежней, первой жены, и не мог, – те же руки, те же одежды, слова, тот же запах, но от нее он всегда уходил легко, а Матрена будто приклеила, оторваться было тяжело, но он отрывался, все дальше и дальше в этот лес, и лишь одно никак не уходило, не смывалось: это то, что он обещал ей из города привезти новый платок или отрез на платье.

Когда он в первый раз рассказал ей о мануфактуре, она вдруг попросила его об этом. Он недовольно поморщился, не зная, угадает ли с цветом и с материалом, и она вдруг поняла и тихо сказала: *какой-нибудь, неважно, мне все равно, чтобы только ты сам выбрал,* – и он с тех пор стал представлять это, прикидывать по цене, в материалах он вроде бы научился разбираться, и еще какой подойдет, какой ей подойдет, это тоже надо было понять, прикинуть, представить. Это было для него привычно, любую работу сначала нужно было представить, даже когда просто рубишь дрова, бездумно, глупо, на утреннем холодке, надо представить, как разлетится полено на две части, с легким звоном, то же самое с любой вещью, он все

представлял, замерял, прикидывал. И вот вдруг она стала для него такой вещью, он прикинул, и получалось, что бледно-голубое, длинное, поплиновое, возможно, или даже шелковое платье, в цветочек, в мелкий, совсем мелкий, вот что было нужно, и нитка красных бус на шею. И когда он представлял себе это платье, верней этот отрез, который он должен был ей купить, когда он представлял себе ее лицо, когда она разворачивает этот отрез, медленно-медленно, он не мог отказаться совсем, не мог навсегда уйти в лес, это было невыполненное обещание, и тогда он возвращался и снова садился в подпол читать книгу.

Пробовала читать книгу и Матрена, в его отсутствие, хотя читать не умела – просто открывала и водила пальцем по страницам, силясь понять природу и силу этих знаков, что держали его взаперти, часто плакала, обнявшись с библией, очень боялась, что он застанет ее тут, сидящей в его подвале, но все равно засыпала, обессилев от этих мыслей и этих чувств, она смирилась с силой книги, понимала, что ее не одолеть, но не понимала, а чем же все это кончится, ведь все равно Матвея забреют, но только силой, через тюрьму, кандалы, каторгу. Это было стыдно, но не перед соседками, ибо она считала себя вправе настаивать на своем и не отдавать войне *второго мужа*, это было уже чересчур. Но Афанасий Петрович, отец Александр, царь и кайзер – все хотели забрать, оторвать, отодрать его с мясом, вырвать его тело из ее тела, и получалось так, что он уйдет по-любому, через книгу или через войну, но выход все никак не находился, ожидание длилось и длилось. В октябре, когда он вернулся с мануфактуры, с горем пополам сделали зимние запасы, привезли на телеге два причитающихся мешка муки с мельницы, накупили даже конфет и кускового сахара, засыпали картошку, засолили капусту, зарезали теленка, частично продав мясо, то есть были даже и *деньги*, – тогда вот и сказала она ему про отрез. Жить бы да жить, и она поверила, раздумалась про то, что пора бы иметь *общих детей*, что без этого никак им нельзя, и каждую ночь стала прислушиваться к себе, чутко обследуя тайники своего тела, принюхиваясь к знакомым запахам, не стали ли резче, мощней, как во время первой беременности, стала больше глядеть на его мальчика – ведь с ним жить, долго, вечность. Мальчик только хлопал глазами и улыбался. Жизнь, еще недавно пустая, ломкая, черствая, как старые сухари, вдруг становилась на глазах плотной, тягучей, ее можно было сжимать и мять, как кожу живого существа. Она садилась доить, и понимала, какое испытывает наслаждение даже от постылой, привычной работы, звонкие струи ударяли в ведро, и было страшно за то, что это кончится: забреют Матвея, не успеет она, а если успеет – останется с тремя на руках, но она упрямо сдувала челку с глаз – не может такого быть, не может такого быть, бог не допустит, он все видит, он все знает, он всех отец, он ее отец, потому что другого уже нет и не может быть, и от голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей, и тут бог, действительно, помог – не получалось у нее…

Не получалось ни так и ни этак, на спине и на боку, обхватив его ногами и распалив до крайности тихими смешками и глупой игрой, когда она сталкивала его с кровати ногой, осторожно, но рьяно, не получалось в полнолуние и в дождь, не получалось на Покров и на Рождество Богородицы, не получалось с травами и без трав, натощак и на полный желудок, ух ты господи боже ты мой, опять она забыла обо всем, опять плыла, как лодка без руля и весел, повинуясь только течению вод, и все равно не получалось. Тут-то и стало понятно, в чем замысел – пришла команда, и он убежал в лес, и унес книгу и керосиновую лампу в подпол, и повадился Афанасий Петрович, и железом сжало ее бедное сердце, и поняла Матрена, что зря она старалась, глупо старалась, как лезла бы в петлю головой, но бог не дал, не допустил, и теперь вот она сидела и ждала, чем же кончится все это нелепое пребывание ее среди двух огней.

И вот повалил ранний снег, потом растаял, оставив после себя сырую мерзлую почву, и пошла она в лес искать Матвея, потому что очень за него волновалась.

Не знала она, где там его землянка, и долго плутала, задыхаясь от слез и злости, а вдруг замерз или исчез, и темнело небо, и непонятно было, где искать, далеко ли идти, и темные

большие ели обступили ее с двух сторон, и пришла она к реке, на которую даже и не думала выйти, а река еще не замерзла, дымилась, согретая ключами, и небо тут было ярче, и лес тише и плотней, и она вдруг подумала, что и сама не прочь тут оставаться навечно, только бы вместе с ним, вздохнула и пошла домой. А в избе все было по-старому – внизу сидел Матвей, она научилась это определять по сбитому половику, а вверху, в зале, ждал ее Афанасий Петрович, в сапогах и в шашке, фуражку аккуратно положил на стол и смотрел грустно в окно.

– Матрена, ну я уж больше времени дать не могу, – сказал он без предисловий, и у нее от жуткого страха заныло, засосало сильно под ложечкой. – Но только это не потому… А впрочем, зачем тебе это знать.

Она молчала. И тогда он начал говорить так, как раньше не говорил, довольно быстро и спутанно, о том, что все не так, как она думает, и он понимает, что без кормильца, да еще с чужим дитем ей будет очень трудно, но пусть не думает, что он такой человек, у которого только одно на уме, дите поможет отдать в приютный дом, а главное, он поможет ей в самом трудном – чтобы не убили его, Матвея, чтобы пошел он служить в тыловую часть, в больничку, к примеру, есть у него там разные знакомые, и сделает он это просто так, потому что есть у него сердце и христианские чувства, и не нужно ему ничего от нее, кроме доброго слова и стакана чая. Она поняла буквально, встала и пошла раздувать угли, которые в печи еще не погасли с утра, ставить самовар. Да погоди ты, крикнул он, с улыбкой, вот эта улыбка ее и доконала, как-то дрогнуло внутри все, он вскочил и схватил ее за плечи, до погоди ты, это я так, к слову, послушай, послушай. Она вырвалась и отошла в дальний угол; тяжело дыша, он сел. Матрена не знала, слышит ли это Матвей и не кончится ли все это потом смертоубийством. Послушай, сказал он, я же все понимаю, хоть и невенчанный, но муж, и дети ваши, но *ничего нельзя сделать*, надо смириться, я помогу, ты только скажи, устрою в больничку, ребенка в приют. Она молчала, он начал частить, про приют, про больничку, наконец замолк. Стало темнеть, а лампу зажигать она не хотела, *увидят с улицы*, о ней и так уже начали говорить, она это знала, как знала и то, что Афанасий Петрович прав – невозможно дальше прятать его в подполе или в лесу (в лесу замерзнет, в подполе умом тронется), но если его выследят или арестуют, ей уже не жить, ей уже никуда от этого Афанасия Петровича не деться, от его *помощи*, от его доброго, христианского сердца, он смотрел в темноте жалко, но жадно, дышал тяжело, ждал ответа. Не надо ничего от вас, сказала она, спасибо, но не надо от вас ничего, только хуже сделаете, пожалуйста, спаси вас бог за ваши слова, но ничего этого не надо, Матвей придет на сборный пункт, даже не сомневайтесь, просто сейчас его дома нет, дома его нет, поэтому некому сказать, но я скажу, я обязательно скажу, я передам ваши слова, пожалуйста, пожалуйста…

Убью я его, сказал он напоследок сухо, учти.

Слова эти были весомы и в общем даже в каком-то смысле справедливы. Она и сама не хотела больше так жить.

Не зажигая света, подошла к печи. Там, накрытые тулупом, спали мальчик и девочка. Она стояла и думала: кого в приют?

Свою девочку или его мальчика?

Возле печки было душно, тепло, спокойно, ей и самой хотелось туда забраться, на полати, к ним, обнять, прижать, может, поплакать и хотя бы на время заснуть, но было нельзя – надо было что-то решать: мальчика, девочку. Или как-то еще…

Утром, когда Матвей попросил чаю – оттуда, снизу – Матрена аккуратно отодвинула половик, открыла подпол за железное кольцо и кинула туда его весь, этот горячий, кипящий чайник. Он страшно закричал, завыл, потому что было больно, а она сказала звонко:

– Матвей! Все идут, и ты иди! – и закрыла крышку обратно, задвинула половик и пошла в огород.

И Матвей ушел на войну.

Глава вторая. Республика Светлое (1919)

Почему Даню Каневского не расстреляли тогда, в 1919 году, было никому доподлинно неизвестно, знал об этом наверняка лишь народный есаул Почечкин (ударение на первом слоге), принимавший такое решение, но спросить его об этом Дане как-то не довелось, есаул взял да и отвернулся, понимай, мол, как хочешь. Однако участие в этом эпизоде Нади Штейн, разумеется, было совершенно бесспорным фактом, и факт этот, ставший потом семейной легендой, многое определил в его, Даниной, жизни.

Проезжая потом, примерно через год, станцию Светлое на агитпоезде «III Интернационал», Даня Каневский даже невольно закрыл глаза, чтобы не видеть очертания знакомой площади. С одной стороны, он был по-настоящему рад, что в последний момент маршрут изменили и решено было тут, в этом самом Светлом, не останавливаться и не делать никаких митингов, концертов, лекций, театральных постановок, дабы больше времени провести в других, более важных для агитационной работы местах. С другой стороны, наверное, он был бы *внутренне удовлетворен*, если бы Миля, его младший брат, начальник агитпоезда, и он сам (замначальника по административно-хозяйственной части) вдруг взобрались на трибуну, здесь, в этом самом Светлом, да, вот именно на трибуну, это были такие грубые свежеструганные доски на четырех или восьми столбах, врытых в землю, некий настил, который быстро делали плотники к их приезду, к прибытию агитпоезда, и на вот этих грубых свежеструганных досках всегда проходил первый митинг, и было бы очень неплохо увидеть Милю, да и себя тоже, пожалуй, вот на этом настиле, на площади, в большом этом селе под названием Светлое, где его когда-то хотели расстрелять. То есть увидеть Милю и себя на этом возвышении, временном постаменте, чтобы взглянуть сверху на этих людей, и чтобы эти люди тоже смотрели на них с почтением и даже некоторым страхом, чтобы убедиться в том, что это *победа*, окончательная победа. И, кстати говоря, Миля спрашивал его об этом: а не хочет ли он заехать в это самое Светлое, чтобы они (вот все эти) *вспомнили*, чтобы им там всем стало стыдно; он спросил его об этом как-то мельком, не настаивая, но Даня не хотел, он молча отрицательно покачал головой, нет, ему не хотелось вновь переживать эти мучительные мгновения, нет, не хотелось, ни за что…

Итак, агитпоезд «III Интернационал» спокойно проехал мимо станции Светлое, где еще полтора года назад располагалась столица народной республики, а главой республики был как раз вот этот самый народный есаул Почечкин (ударение на первом слоге), низкорослый человек с густыми усами и как бы белесым, вроде бы даже совершенно пустым взглядом из-под темных густых ресниц.

В этой столице народной республики, которая охватывала аж два больших уезда плюс еще три волости, просидел Даня Каневский в 1919 году почти три недели в качестве заключенного в подвале бывшего городского банка, где, наверное, когда-то хранились немалые ценности и наличные деньги. Была в Светлом еще и нормальная тюрьма, при полицейском участке, но там отбывали срок обычные воры-карманники и прочие грабители, доставшиеся народной республике чуть ли не по наследству от царского режима. Однако тюрьму взорвали, и злодеев всех выпустили, сразу после революции; правда, неумело взорвали, так что пользоваться ею было все равно можно, стена, конечно, обвалилась, торчали пустые глазницы окон, но в целом, внутри, она была еще вполне пригодна к эксплуатации. Но Даня должен был сидеть *отдельно* от воров, карманников и шулеров, и насильников, и прочих фармазонов, которые тут же образовались вновь, именно отдельно, ибо судьба его была неясна и ожидала своего решения в высших сферах, а в каких именно, сказать было невозможно, ибо республика Светлое никому не подчинялась, ни от кого не зависела, ни к кому не старалась примкнуть, а желала жить исключительно своей, отдельной жизнью, то есть своим умом, а также *честной торговлей* с

остальным миром. Что, впрочем, пока еще было не вполне до конца возможно в силу общей сложности происходящих мировых процессов.

Ясно было лишь одно: что судьба Дани Каневского, как очевидного большевика и к тому же еще шпиона, имела два простых решения – расстрелять сразу или же расстрелять потом, после показательного суда.

Никаких других решений она не имела.

Вообще в том 1919 году (как и в следующем, как и в предыдущем) расстреливали людей в России (то есть в бывшей Российской империи) очень много, очень часто и по совершенно разным основаниям, и иногда, откровенно говоря, даже случайно.

Расстрелять могли от скуки, из чувства долга, по глупости или от особого склада ума. Могли расстрелять по соображениям как идейным, так и административным, расстрелять, чтобы устроить праздник или заглушить горе, основания были разные, но конец все равно один и тот же…

Расстрелять могли даже из милосердия, если пленников, скажем, элементарно нечем было кормить, и вот, чтобы они не мучились животом, цингой, поносом, чтобы не мерли в жутких мучениях, их иногда расстреливали тоже (хотя и не должны были), даже и по этой вполне гуманной причине…

«Социальная справедливость» (или, по-другому, «мера социальной защиты») была, конечно, наиболее распространенной и важной мотивацией расстрела, но ведь и тут имелись варианты, оттенки и весьма сложные случаи – ну вот, в частности, как с Даней.

Таким образом, расстрел был тогда, если можно так выразиться, довольно распространенной *формой жизни*, поэтому Даня поначалу решил относиться ко всему философски, принимал пищу нехотя (а зачем?), попросил бумагу и карандаш, чтобы написать напоследок трактат о развитии будущей коммунистической промышленности, но с этим как-то не получилось, и вдруг унылое существование в ожидании грядущего расстрела показалось ему необычайно привлекательным, неожиданно ярким – ну, к примеру говоря, каждый вечер ему давали вареный картофель на ужин, немного, но давали, и вот он теперь ожидал этого момента целый день, глотая слюни и представляя себе эту разваренную дымящуюся картошку с щепоткой крупной соли. В картошке была какая-то смутная надежда – если кормят так по-царски, то, может быть, в его жизни видят смысл? Но лучше об этом было не задумываться, и он не задумывался.

Неожиданно вкусна оказалась не только эта ежевечерняя разваренная картошка, глубокий и нежный вкус обнаружился вдруг у многих самых разных вещей. Например, *холодная вода* – Даня нашел во вкусе чистой воды массу оттенков, которых раньше не замечал. «Вода – это чудо» – записал он на своей бумаге, предназначенной совсем для другого. В другой раз ему пришли в голову стихи: «Вставай, рассвет багровый, ты вечности глоток…». Но дальше этих двух строк дело не пошло. Поэтому очень часто он сидел и просто рисовал на этой бумаге, что тоже было необычно – никогда раньше он не рисовал и даже не пытался… Даня выбрал один листок, на котором выводил женские лица, а на другом он решил рисовать только природу – угольные терриконы Донбасса и пирамидальные тополя. Сочетание этих линий приводило его в восторг, так же как вода, картошка, воздух, косые лучи солнца на рассвете и всякие другие нежные детали жизни…

Конечно, Даня Каневский, как всякий образованный и разумный человек, заранее готовил себя к подобному повороту событий. Нужно было сформулировать в голове какую-то «идеологию» или даже «философию» своего расстрела, ведь в бою умирать не страшно, там волнение, там прыгает сердце, там даже испытываешь некоторый восторг, то ли ты сам убьешь, то ли тебя убьют, а вот смотреть в глаза хладнокровным палачам – это совсем другое, поэтому готовиться нужно заранее. И Даня был готов: «ну и что?» – убедительно говорил он сам себе, и, собственно, все дальнейшие рассуждения были уже не так важны, это знакомое ему чувство, которое он начал культивировать в себе давно, когда еще только встал на эту дорогу: сопротив-

ления, борьбы, подвига, да, убьют – ну и что? посадят в тюрьму, отправят на каторгу – ну и что? казак разрубит шашкой напополам – ну и что? потону в проливе – ну и что? – он готов, он всегда был готов к такому, потому что в его сердце, в его душе находилось нечто большее, чем его физическое существование, чем все эти мышцы, нервные окончания и плавно перетекающие жидкости, он сам был намного крупнее, важнее, ценнее, чем все эти отдельные, частные, нелепые случаи физической смерти, то есть, другими словами, его личность, его человеческое «я» возвышалось над этими угрозами, как скала, нет, как огромная гора, нет, как грозовое облако в вышине неба, то есть как нечто величественное, что не может исчезнуть. Оно просто перейдет в иную ипостась, в иную сферу, и этого достаточно, чтобы встретить смерть спокойно, да, встретить спокойно. Но вот тут, в этой одновременно смешной и страшной «народной республике», в этом огромном, совершенно тихом селе, с этими белыми мазанками, с этими старыми купеческими домами с гипсовыми колоннами, Даня вдруг ощутил – что нет, не «ну и что?», он разжевал в картошке, распробовал в воде что-то такое, чего раньше как будто и не было в его жизни – смысл малейших проявлений своего тела, смысл простого качества (простых физических качеств) всего сущего и окружающего. Например, в этом подвале, бывшем подвале банка, где держали свои вклады местные купцы и мещане, имелась такая хорошая, мощная кирпичная кладка, и вот кирпич этот на уровне лестницы был такой прохладный, влажный, он будто слезился, как глаза старого человека, это было даже удивительно, простой кирпич, а он был живой, Даня гладил его ладонью, вспоминая все виденные в жизни кирпичные стены – например, стену старой крепости в Клермон-Ферране или кирпичные стены в родном Харькове. Все они будто стояли перед глазами, все они излучали эту влажную прохладу, и он сам плакал, глядя на этот дурацкий кирпич…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.